

Чаша мыслесвязи заскакала по краю стола, того и гляди свалится. Угораздило ее так оставить, думала, уж никто не станет меня помогать в предрассветный час. Выскочила из постели, куда только-только забралась, и подхватила хрупкую стеклянную посудинку на лету. Наверно, Томила — кому, кроме муженька, я нужна в такое время. Работает — времени не замечает — ночь, день, без разницы. В пещере его всегда ночь — сумрак в углах, свет факелов, призрачные светляки от сказанных заклятий.

Нет, не Томила. Только бормотнула заклинание связи, как в голову ввинтился вопль Осьмуши, мужнина помощника. Ясно дело, мысль — не речь, чувственного окраса не имеет, но я прямо почувяла запах страха.

— Он ушел! Ушел! Ты слышишь, Купина? Ушел! — орал Осьмуша, будто «ушел» — война, чума, стихийное бедствие.

Накрыло волной паники.

— Кто ушел, Осьмуша? Куда? Объясни по-человечески.

Но я уже знала. Знала. Он все-таки решился. Но что-то пошло не так.

— Мормагон! Ну то есть господин Томила. Купина, что делать-то, а? Заявлять? Я на три дня отпросился. Он сам разрешил. Я уехал, а он... Он специально меня отпустил. Это он сам. А я...

Ясно дело, сам, а ты, недотыкомка, ни в чем не виноват. Так тебя понимать? И трясешься ты за себя. Твой хозяин запретной волшебной занимался, а ты, типа, не знал. А знал — чего не донес? Ох, Купина, не Осьмуше-криворуку, разруливать ситуёвину, что твой благоверный замутил, тебе, родимая. Знала, что рано или поздно вляпаешься. Знала, когда за некроманта замуж шла. Ну вот и вдарил набат над головой, грохнул железным биллом: «Вставай, девонька! Ноги в руки и вперед!»

— Спокойно, — отвечаю, — не пыли. Сиди в пещере, не выходи и не впускай никого. Я уже мчусь. Приеду, сама разберусь. И с Мормагоном, и с Веденейским Собором, и с тобой, Осьмуша, — на последние слова надавила, чтобы проняло: не дай Велес, ослушается, доберусь — ноги вырву, в склизкую жабу обрацу, по ветру развею.

Я лихорадочно металась по дому, швыряя в заплечный сидор что попало: магические причиндалы, учебные записки трехлетней давности, летние сарафаны, хотя уже лютень на дворе, и хлеб со стола. И вдруг встала столбом, застыла посреди поднятого вихря. Что это я? Поддалась панике, вдутой в голову Осьмушей. Ему от страха корчиться не зазорно, — людина неразумная. Велик ли спрос? А тебе, Купина — стыдоба! Ты сама веденея Первого уровня. Ты сама в Веденейском Соборе. Недолго, правда, с той ночи едва седмица миновала, луна еще на ущерб идет. Ты такой отбор прошла, такие испытания выдержала, а пихаешь в мешок столбцы с простейшими заклятиями, что учеников зубрить заставляют. Рванулась, едва на мороз в нижней рубахе не выскочила. Куда заспешила? Там, куда твоего мужа вынесло, времени нет. Опоздать невозможно.

Вывалила все на смятое одеяло. Начала по новой собираться. Вдумчиво.

Слышу сопение под кроватью. Дрема, домовик мой, внимание к себе привлечь старается.

— Чего тебе, Дремушка? Уезжаю я. Ты за хозяина.

Сильнее сопит, обиженно.

— Знаю, скучно тебе одному.

Выкатился рыжим лохматым клубком:

— Возьми меня с собой!

— Куда, Дрема? Ты ж домовый! При доме, стало быть!

— Я семьсот лет при нем. Как твоя пра-пра-пра, — загибает волосатые пальчики, — или четыре пра-? Не упомнить вас, мелькаете слишком быстро. Короче, как твоя предка дом поставила, так и сижу. Скука. Заклятья наложи, никто не влезет. А мне мир посмотреть охота.

— Ладно, — говорю, — полезай в валенок.

— Неа, там мышами пахнет. Лучше в шапку.

— Шапка мне на голову, стужа на дворе.

— Во! И я под шапкой.

Не спорить же.

Что еще взять? Мокошь-заступница, я и забыла! Метнулась в чулан. Из сундука, что со времен досюльных стоит, вытащила маленький ларчик, железный, гладенький. Никаких на нем рун-знаков. И замка нет. И внутри ничего нет. И что это за ларец, никто у нас в доме никогда не знал. Когда, как сказал Дрема, моя предка, ведьма Некраса, помирала, его дочери передала. Сказала: «Храни, однажды пригодится». А на что, не сказала. Хмыкнула только: «Тебе лучше не знать». Так оно и прозывалось: «лучшенезнать», и с покон веку в сундуке валялось — не пылилось, не ржавело. Заклятья заклиньями, а если упрут семейное сокровище, стыдно мне будет перед предками. И перед потомками заодно. Будут же у нас с Томилой потомки когда-нибудь.

||

Потеплей одеться, шапку завязать: «Дрема, не егози, щекотно».

Полетели!

— Залипуху не забудь! — Дрема топает ножкой мне по макушке.

Это он про залипающее заклинание, чтоб с помела не сверзиться.

Помело я на самую высокую скорость заговорила. Муженек мой в безвременье канул, а здесь-то время бежит-торопится. Как там Осьмуша? Страж из него аховый, мало ли... До пещеры Мормагоновой — два дня с помела не слезать. А по земле, по прямой — седмица. Какая прямая? Холмогорье, Дивнолесье да Мор-озеро. В месяц не поспеть. Далеко Томила от Твердиграда столичного угнездился. И от княжего ока, и от Собора, коему подчиняться обязан. Люду в тех краях хрен да маленько — мелкие деревушки в лесах. Кабаки придорожные да капища волхвов — вся и власть. Там, поди, и не ведают про стольный град. Шутка! Каждый кабак обязан выписывать «Князьи ведомости» и всем

желающим бесплатно предоставлять. Курьеры разлетаются по миру, в самые дальние зауголья, несут слово княжье и все, что к нему прилагается: советы, чего-как сеять-жать, свежие сплетни, заклички волхвов да гадалок.

Муженек на край мира недаром убрался. Если о его делишках хоть тоненький слушок до Собора дойдет — выйдет ему полный кирдык, несмотря на чин и почитание. Развенчают, лишат права колдовать, схоронят заживо, не выскребешься. Только я знаю, чем он занят. Я жена, второе крыло, третье плечо. Не предам, не выдам. Потому что люблю.

Кто сказал, что некроманта нельзя любить? Может, и нельзя, да сердцу не прикажешь.

Мормагон нас азам некромантии обучал в Академии. Строгий такой, недовольный — крылья носа негодуяще трепещут. У меня все заклятия из головы вылетали со страху.

Повел нас на практику — упырей поднимать. Ночь безлунная. Я отстала, меня мавки запутали, заманили, в реку столкнули. Я и утопла. Плыву себе мертвая лицом вверх по реке, ни о чем не думаю. Погост на взгорке, река его петлей огибает. Мормагон меня почуял. Сиганул прямо с обрыва в воду, вытащил, откачал.

Девчонки говорили, он меня заклятьем из Нави вызвал, рабыней сделал. Ерунда. Он мне сердце раскачал и в рот надышал, я и очухалась. В первое мгновенье вижу — надо мной глаза черные, бездонные, я в них бултых, опять утопла. Потом спазмы, кашель, вода из горла ручьем, слезы брызгами.

Вот так я в некроманта влюбилась, втюрилась по самые печенки.

Это я Дреме рассказываю, у костерка сидючи.

Летели мы долго, день прошел, стемнело. Только я задремывать стала, помело самочинно на посадку пошло. Да не пошло — рвануло. Людям — надежда, богам — смех.

— Тормози! — домовый мне в волосы, как в поводья вцепился.

Влетели в какой-то столб. Об него и затормозили, в сугроб просыпались. Помело крак — пополам, к починке непригодно. Где ж мы? Подвесила пару шаров-светляков, огляделась — что-то вроде дороги, не хоженной, не еженой, снегом заметенной. На столбе доска, на доске буквицы вырезаны: «Перунов скит 3 версты». Впотьмах скит искать не буду, об этом подумаю завтра. Наскоро сложила шалашик из еловых лап, Дрема упросил: «Хоть какой-то дом». Костерок развела. Теперь сижу, домовика разговорами развлекаю, про свою любовь рассказываю.

Когда эта самая любовь у нас с Томилой закрутилась, он мне про свои опыты и рассказал. Я смеялась:

— Что, некромант, смерти боишься?

— Смерти не боюсь, — говорит, — а на слепое Колесо перерождений вставить неохота. Столько знаний накоплено, а вынырнешь в следующем рождении скоморохом, или такой дурындой, как ты, — хватает меня, щекотит, целует так, что я вся огнем пылаю.

— Дак с Велесом, с Марой договорись. Ты им жертву, они тебе новую жизнь с накопленными знаниями.

— Договаривался один такой, — ворчит. — Ты про волхва Нажира слыхала?

— Неа.

— Тоже хотел знания свои сберечь. С Велесом договор заключил: «Пусть все мое со мной в новом рождении пребудет».

— И что? Обманул Велес? Не выполнил договор?

— Чего ж не выполнил. Выполнил. Родился Нажир младенцем-стариком. Вот каким помер, таким и родился, только в четверть пуда весом. Только успел сказать, бороду ощупав: «Дуботолк!» — тут же и помер вдругорядь. И кого обозвал, себя ли, дурака, Велеса-хитреца, кто знает. Так-то они, боги, с нами. Что людям — надежда, богам — смех.

III

Левая воротина болталась на ветру и поскрипывала, правая намертво вросла в сугроб. Тропинки в воротах не было.

Едва солнце высунуло из облачной перины лучик-пальчик проверить, как оно снаружи, я двинулась. Проложила путеводную нить от себя до Томилиной пещеры, нетоптанный прямик улегся точнехонько на нее, значит, первый привал — Перунов скит. Версты тут оказались растянутые, несмотря на ускорительное заклинание и посох из обломка помела, путь занял полдня. Ну хоть, людей найду.

Теперь сомневаюсь.

В ноздри заполз запах дыма и жженных перьев. Ага, кто-то есть! Курицу опаливают?

Прохрумкала валенками мимо изб, пустых, брошенных. Когда-то скит был густонаселен, еще бы, Перун — самый почитаемый бог у селян, от него вся жизнь зависит. Но почему волхвы ушли?

Над самой маленькой избенкой, не больше баньки, вился дымок. А за ней еще столбик дыма, вонючий.

Посреди расчищенного круга высился идол, тщательно вырезанный из толстеного бревна бородатый Перун, в глазницах кроваво-красным огнем полыхали лалы.

Перед идолом здоровенным медведем раскорячился волхв, возился с жертвенником. Заглянула ему через плечо:

— Ворона?! Перуну?!

Волхв, развернувшись, обратив ко мне мрак под низко надвинутым куколем. Мрак чихнул и сказал:

— Дак ить вона у ево очи-то со вчера пылают. Озлился. Надо ж умилостив... — запнулся и добавил вопросительно, — влять?

— Вить. Умилостивить, — поправила я.

И тут же в голове щелкнуло: «Со вчера...» Ясенько. Ну спасибо тебе, перуний слуга, за весточку.

— Селяне, сволота, — бубнило из-под куколя, — не везут ничего, не допросисся. А ты чего тут? С просьбой? Или за гаданием? Дары-то захватила? — и вздохнув, шепотком, — хлебушка бы...

— Хлебушка я тебе дам.

Он обрадовался:

— Ну пошли в избу, девка. Чё за доука-то у тя?

В избенке, скинув балахон и надетый под него тулуп, волхв оказался длинным нескладным парнем.

— Эка морковина печеная, — захихикал Дрема у меня на голове, — власа рыжие, а рожа и руки — будто плеснули взваром, веснушками утыканы. Такой не Перуну, Яриле служить должен.

Пока я придремывала у ночного костерка, домовый времени не терял. Прожег в шапке две дыры спереди и сзади — окошки, а еще наплел мне кучу мелких косиц, да свил гнездо-шалашик на моей макушке. «Мне, — говорит, — без дому нельзя. Теперь ты мой дом. Давай приглашай». Пришлось обряд исполнять в походных условиях. Сунула в волосы монетку да крошку хлеба, поклонилась Дреме, три раза повторила: «Дедушко-доманушко, иди со мной на новое жильё, на бытёе, на богачество. Я тебе гостинец припасла, ты меня не ругай, не брани, из дому не гони».

Морковина на мою «прическу» глянул, потом желтый глаз на мое кольцо со смарагдом скосил, сообразил, кто перед ним — сразу тон сменил:

— Госпожа э-э-э, может сбитня заварить? С холоду — первое дело.

— Меня Купиной зовут, — говорю, — а тебя как?

— Дак ить Тит Ковалев я, перунов страж.

Точно, Тит, то-то мне его плохо пропеченная личность знакомой показалась. Тит Дважды Восемь. Притча о нем вошла в историю Академии волшбы. И было это на моих глазах лет семь назад.

Всем известно: восьмой сын восьмого сына станет волшебником, даже если все его предки были ковалями, как у Тита. Качая рыжее чадо сильной рукой, папаша радовался: «Выйдет в колдуны, всю семью подымет, будем жить-поживать, добра наживать», — и своей науке кузнечной сына не учил. Зачем? Как только стукнуло сынуле пятнадцать, отправил в Твердиград в Академию.

Тит оказался тем самым исключением, что подтверждает правило. Ни малейшей веденейской искры в нем не было — глухое полено, слепой крот, дырка от бублика. Срезался на первом испытании. Но отец счел неудачу происками завистников и попыток пристроить сына в колдуны не оставлял.

Каждый вересень, с началом нового годового круга, в воротах Академии появлялся ослик, на котором, свесив до земли долгие аистинные ноги, сидел Тит Дважды Восемь. Он доканал всех, веденя Преслава, что командовала тогда нашей богадельней, заявила: «Если явится еще раз, приму его без испытаний. За настырность». Но он не явился. Видно, отец, плюнув, выгнал со двора безнадегу-сына. И он всплыл в брошенном перуньем скиту.

IV

В избе кругом барахло перуново: стрелы, камни, обереги. В спешке волхвы бежали, все самозваному наследнику оставили. Лет сорок назад тут мор приключился, в свитках —

последняя запись. Волхвы первыми смикитили, куда ветер дует, свалили вину на кабатчика да его жену-веденею, и драпанули. Вредителей селяне пожгли, как водится, но от черного поветрия все ж перемерли. Не все. Выжившие детей нарожали, но народу мало в округе, и власть столичная про них позабыла. Тит и пытается здесь властью стать. Да не особо пока удается.

А что это на окошке в паутине? Блюдце простенькое. Простенькое, да не очень, через ведьмин прищур глянула — ходок-переместитель. Если технику знать, а я знаю, в блюдце это нырнуть можно, а вынырнуть, где пожелаешь. Ценняк. Выпрошу, Тит не знает, что это, а то б не отдал паукам.

С ходока я ведьмин прищур на Тита перевела. А мыслишки-то у него гадкие: он меня селянам решил сдать. «Перун злится из-за пришлой ведьмы, опять мор найдет. В железа ее, ребята, в огонь! А мне, перунову слуге верному — почет в виде копченого окорока».

Тит с ведром к двери:

— Воды бы. А тебе вот — бузинная настоечка для сугрева.

Заботливый, гнида.

— Титушка, глянь-ко.

Он на меня глаза свои желтые поднял и попался. Заплела я сеть сон-дурмана:

— ...сон в камень, камень горяч, под камнем ключ.

Искорки с перстов моих раз парню в лоб. Мешком осел наземь, свернулся, ведро обняв, у приоткрытой двери.

Дрыхни.

Барахло перуново прошерстить. Сгодится. Чую, что меня ждет. Стрелки, плеть, камни в мешок, а вот блюдце надо отдельно, расколотится. Положила ходока в лучшенезнать, крышкой прикрыла. Что тут еще? Брошка? Не брошка — сварга стеклянная, алая. Мужская штукавина. Но возьму. Туда же ее, в ларец.

Эй, что такое? Поднимаю крышку, а там пусто. Ходока нет. Только что сунула, а он тью-тью. В недоумении перевернула ларчик, по дну постучала. Ходок мне на коленки выпал. Так вот что ты такое, лучшенезнать! Бездонный ларь. Суй туда что угодно, все в щелекучу между мирами ляжет. Быстро все туда побросала, теперь в мешке заплечном лишь лучшенезнать остался. И еще бутылка бузинятины. С собой прихвачу Титово угощенье.

Ходока в руки и вперед. Но тут о ведро спящего Тита что-то стукнуло. Зверь странный, голова шаром, по шерсти струйки белые текут. Кот в горшок простокваши башку сунул, а высунуть никак. Из-под горшка бормотанье невнятное.

— Кис-кис, иди помогу.

Надо ж спасти животину. Вытянула. Котяра морду облизнул и отдельно так говорит:

— Мяу. Мя. У.

Дрема топ-топ в темечко:

— Прищур включи. Скотина-то из баюнов. Притворяется.

Точно, кот-баюн обыкновенный. Серый, облезлый, тощий.

— Здорово, братец, — говорю, — и прощай, уходим мы.

Он ушами затряс:

— Я с вами. Задолбало мышей ловить и мяукать. И это, как там... Я тебе еще пригожусь.

И улыбается во все зубы, сказочник блохастый.

— Ну давай, прыгай на спину.

И затянуло нас блюдце, завертело. Потек свет, завихрился цветом, что и не видал в мире никто, зазвенел, затрепетал. И погас. Выплюнуло нас блюдце.

Опять вокруг лес, снег, сумрак вечерний. Дно оврага. И пещера Мормагона передо мной. Никогда я тут не бывала. Сюда муж меня не допускал. Это только его игрушка.

— Осьмуша! Это я, Купина, — кричу, — открывай!

Мужнин слуга, хоть не колдун, но ставить-снимать запирающие заклинание обучен.

Темно в пещере, выпускаю световой шар, он плывет впереди, призрачно зеленые блики вязнут в черном камне стен. Тень навстречу. Осьмуша. Трясется весь:

— Долго ты... Он там заперся... Не войти... Я тут... Страшно.

— Уходи. Спасибо, что дождался.

Он зайцем из пещеры. Дробный конский топот — ускакал.

Теперь я одна. Ну в смысле, с котом и домовым. Но все равно одна.

Касаюсь рукой стены, она шершавая и теплая. Будто не камень это — шкура зверя. Вепря? Змея? Все горячей под ладонью. И мелкая дрожь-лихорадка. Запечатана дверь, не войти, не снять заклятий. Да и незачем. Томилы там нет. Разве что тело его. Пустое. Без души.

А душа где? Глянуть бы.

Кот о ногу трется.

— Чего тебе?

— Я провожу. Уснешь и найдешь. Настойки хлебни, глазки закрой, песенку послушай.

А что? Может, сработает.

Пару глотков из горлышка — в голову шибануло. Лечь на пол, сварга на груди, стрелы за спиной, в руки камень перунов да плетъ, глаза закрыть. Пой, котик, провожай меня к мужу.

∨

Ходит луна по небу

Тропкою нехожалою

Бродит кручина по миру

Спи дитятко малое

Цветики смяты во поле
Залиты кровью алою
Под окнами Лихо топает
Спи дитяtko малое

Беды всегда быстроногие
Счастье порой запоздалое
Утро увидят немногие
Спи дитяtko малое

Течет колыбельная, плыву лодочкой. «...Спи, дитяtko...» Не спи!

Вскочила. Я по-прежнему в пещере. Дрожат, зудят стены. Сплю или нет? Сейчас взломаю дверь запечатанную и узнаю. Если явь, то за дверью найду два тела пустых, бездушных: одно Тамилино, второе отрока какого-нибудь. Не стал муженек ждать милости от богов, решил сам смерть обмануть — выпрыгнуть из своего тела, да в новое запрыгнуть, прихватив все, что за жизнь скопил: память, знания и, надеюсь, любовь нашу. Выскочить сумел, а дорогу к новому дому не нашел, заблудился. А если не-явь, то там — что угодно.

— Как гром бие и разбие, так и перунов камень в моей руке разбивае, — кричу, и каменной по двери.

Вспыхнули, осыпались пеплом створки, дунул в лицо ветер, пропитанный звонким запахом снега.

Снег, лес, сумрак. Кряжистый дуб посреди поляны, впятером не обхватишь. Вепрь задом дуб подпирает, роет копытами, от боков, черной щетиной заросших, пар, с кровавых клыков пена хлопьями. На него свора псов напирает, рыжих крупных, волки — не псы. Молча кидаются, виснут на боках. Вепрь их клыками раскидывает, копытами давит. Разлетаются псы, кровью снег заливая. Умирают молча. Вижу через ведьмин прищур, не вепрь это, Томила, и не псы — Тит Дважды Восемь, един в ста лицах, вернее, мордах.

Как так? Он же дрыхнет в дальнем далеке. Я его усыпила, а Перун призвал. «У ево очи-то со вчера пылают», — Титовы слова. С того и пылали, что в перуновы пределы чужой вторгся, я тогда сразу смекнула, куда мужа вынесло. Потому и барахлишко, от волхвов оставшееся, подтибрила. Воевать с богом, так божьим же оружием.

Пляска смерти под дубом. Солнце над вершиной. Должны плясать на снегу длинные тени. А нет их. Не люди мы здесь — голые сущности без телесной шелухи. Томила диким вепрем, Тит сворой собачьей, а я — кем я в безмирье выскочила?

Воином.

Новое дело! Была веденея, хитрая, как ласка-зверок текучая. А нынче я богатырь. Широки плечи, крепки руки, надежны ноги — не своротишь. Кольчуга грудь прикрывает,

за спиной лук да колчан со стрелами, в шуйце щит круглый, алой сваргой сверкает. Не оберг ли этот мужской воином меня сделал?

Десница плеть перунову сжимает. Обернулась плеточка бичом длинным, из воловьих жил крученным, в хлыст острые срезки вплетены, ударишь — пополам развалишь.

— Держись, Томила, я иду!

Глас у меня зычный, порывом бури по поляне несется, ветки мелкие с дуба сшибает.

Прыгают на меня псы, желтыми глазами сверкают, клыками в ладонь длиною щелкают. Да куда им супротив меня. Скользят клыки по доспехам, хлопает бич, рассекает тела собачьи, валит останки в кучи, одну вправо, другую влево. Последних вебрь затоптал. Рассеялись псы перуновы. Истаяли. Пусто на снегу. Чисто, ни крови, ни клочка рыжей шерсти.

— Томила, — кличу, — уходим!

Да не тут-то было...

С верхушки дуба рухнул прямо веprü на спину орел. Огромный, перья золотыми сполохами. Оком на меня косит, желтым, Титовым. Упал веprü, подернулся речной рябью, потек водой талой. И прынул в небо сокол. Грудь в грудь с орлом сшибся, чиркнул крылами по глазам. Клекот орлиный, визг соколиный — уши заложило. Бьются птицы — ветер завихрился, с ног валит, снег подымает, взор застит. Или птичьи перья снегом с неба сыплются?

Лук из-за спины хватъ, калену стрелу на тетиву. Никогда я лук в миру не держала, а тут руки сами знают, что да как делать.

Новая я, другая. Другой.

Кружат птицы, сплетаются. Не сбить бы сокола вместо орла. Первая стрела мимо — в солнце улетела, вторая мимо — в дуб воткнулась. Последняя в ладонь легла. Не промажу!

Прямо в желтый глаз стрела угодила. В один угодила, из другого вышла. Вскричал орел, заметался, ослепший. Сшиб его сокол наземь, упал сверху, рвать-клевать стал.

Чего время теряет? Бежать надо, в мир возвращаться!

— Томила, скорее!

Шипит на меня, крыльями хлопает, не подпускает. Пока не истерзал орла, не успокоился. Исчез орел, ни пера на чистом снегу не осталось. Ну все, сматываемся.

Не успели. Задрожала земля, ходуном заходила — дуб корни выпрастал, побежал пауком к соколу, на ходу превращаясь во всадника. Конь под ним игреневый, в деснице — топор боевой, доспех сверкает, взор из-под шлема огнем пылает.

Перун!

VI

Сокол крыла раскинул. Перья кинжалами острыми. Тело вытянулось. Вместо клюва — пасть зубастая. Птицезмей жалом водит, оком багровым косит. Налетел на всадника.

Ударил грудью. Зашатался конь. Всадник поводья натянул, поднял коня на дыбы. Ржет конь, слышится Титово: «Дак и-и-ить!» Рубанул Перун топором. Соскользнуло лезвие, крепка чешуя змеева. Ухмыльнулся змей, ударил хвостом — вышиб всадника из седла. Покатился Перун по земле, вскочил, топор поднял.

Что ж я столбом стою, на помощь не спешу? Так нет у меня оружия. Кнут исчез, стрелы кончились. Только щит-сварга в руке. Да и кому помогать? Змею-Мормагону? Богоборцу чешуйнопёрому? А если он победит? Разрушит мировой лад. Боги не простят, обрушат гнев на род людской. Нет! Не встану я на сторону мужа. Прости, Томила.

Пока я маюсь, бойцы в ком слиплись — руки, крылья, топор, когти — не разнять.

Развалился ком. Перун на снегу истоптанном, кровью багряной залитом. На коленях стоит, шатается. В руке топор дрожит — древко треснуто, лезвие зазубрено. Взлетел Мормагон. Тяжелы взмахи крыл. Отделал его Перун, повыдергал перья, посек чешую. А все ж змеева позиция выгодней. Рухнет с неба на врага, добьет.

И полетит Мир в тартарары.

Прости, Томила!

Поднимаю щит, трубным гласом ору древнее заклатье:

— Подем иде Нтиф и Кац, и я. Камень виде Нтиф и Кац, и я. Нтиф влево, Кац вправо, я прямо. Сила со мной!

Бросок! Со свистом летит сварга. Врезается в горло змею. Как нож в масло. Башка наземь кувырк. И туша туда же. Из обрубка шеи дым пестроцветный. В сваргу, в небе зависшую, втягивается. Темнеет алая сварга до вишневой густоты, до багрового мрака. Весь дым, всю Мормагонову живу впитала и в руки мои вернулась, зудящая, горячая.

Перун поднялся. Стоит раскорякой, ноги подгибаются. Но во взоре, ясно дело: «Моя победа!» Горазды боги чужими руками жар загребать. Поднял топор и швырнул в мою сторону. Свидетеля убрать?

Замер богатырь, щит-сварга в руках перед грудью. Летит в него перунов топор — шитом не прикроешься. Упал топор прямо богатырю под ноги, в твердь воткнулся. Раскололась твердь. Ухнул в разлом богатырь.

Я ухнула.

Вот она заветная потайка Томилина, куда мне ходу не было. А теперь, пожалте. Я в теле своем женском, кот у ног отирается, Дрема, на голове возится, сварга, стекляшка малая, кулак жжет. Знать, проснулась, в яви нахожусь. Скарба колдовского тут видимо-невидимо, в середке на стол широком два тела голых, бездушных, одно Томилино, второе отроковицы. Девочка, лет десять от силы. Худенькая, ключицы торчат, косица русая под плечо подоткнута. Ай да, Мормагон! В девчонку пересесть задумал. Вот уж где его искать не будут. Детей никто не учитывает, ни князь, ни Собор, ни боги.

А я? Как же я, муж мой милый? Как же любовь наша?

Видать, никак. Была, да вся вышла. Жена — не лапоть, поел да в закут.

Сварга сейчас дыру в ладони прожжет. Наружу просится. Разжала кулак. Завилась ниточка пестренькая, Томиле в лоб вошла. Зашевелился. Руки поднял, посмотрел на них. Сел, ноги со стола свесил. На меня уставился. А потом как вскочит, как влепит мне кулаком. Меня на стену кинуло. Так треснулась, дух вон. Сползла на пол, воздух рыбой глотаю, встать не могу.

Мормагон на меня наступает. Голый, огромный, страшный. Такой злобой пышет, кожей чувствую. Сейчас прикончит меня.

— Дура! Зачем влезла?! Я бы победил! Богом бы стал! А ты меня обратно?! Дрянь!

Здорово ему в безмирье башку оттоптало, в боги подался. Ясно дело, на кой ляд возня с телами, если свезло прям к богам на двор выпасть, да свои порядки там завести. А тут я под ноги кинулась, фарт перебила.

Вопль уши резанул:

— Йя-а-а-у-у-у! — кот взлетел и когтями Мормагону в морду.

Да что кот против колдуна озверелого. Смахнул:

— Умри! — молния с перстов, и нет баюна, шкурка обгорелая на пол пала.

Тут в Мормагона барахло полетело: чаши, перстни, тулуп да валенок. Дрема шмотки мои из щелекучи вытащил, во врага швырнул — меня, дом свой, защищает, как положено домовому. Последним полетел лучшенезнать, угодил в висок Мормагону, пустил струйку крови.

Еще одна молния — Дрема с головы моей скатился прямо под ноги Мормагону. Опустилась стопа — и нет больше домовика, только искорки разлетелись.

Дремушка, как же это? Семьсот лет в нашем доме, меня малую нянчил, в прятки играл, кренделек-пряничек подсовывал. Осиротил ты меня, Мормагон.

Не прощу!

Растет сила моя, крепнет глас. Звучит заклятье:

— По полю иде...

VII

Видно, не то что-то булькнула, Нтиф с Кацем, лапти попутав, не своими путями двинулись. Да и не удивительно — тарабаню заклятие, а перед глазами комната моя, Дрема клубочком из-под кровати: «Возьми с собой, мир посмотреть хочу...» Вот и посмотрел ты, Дремушка, всласть насмотрелся.

Застыл Морамагон, заклинанием спутанный. Руки ко мне тянутся, морда злобой перекошена, глаза огнем горят — идол, чудище навье. Над темечком ниточка пестрая вьется, жива наружу прет. Только вдруг замахрился кончик у нити, стала она делиться. Часть к сварге стеклянной тянется, а тоненькие волоконца желтенькие, как лучики зимнего солнца, вокруг Мормагона кружат, свиваются, в тело впиваются.

Договорила — руки его плетями упали, лицо разгладилось, взор потух. Не человек — болван глиняный. Голем — вместо глаз дырки, за ними пустота. Ходить может, приказы исполнять, а мыслить — нет. Нечем. Дух в сваргу запечатался.

Так тому и быть.

Куда ж ее, сваргу, спрятать? Куда закинуть, чтоб не выловил никто? Взяла я лучшенезнать, да туда и сунула. Провались в щелекучу между мирами на веки вечные!

— Аз есмь древний из дней, аз есмь сильный из богов, солнце и луна, вода и железо послушны мне... — мну перстами железный ларчик, как мягкую глину, в ком сминая, наизнанку выворачиваю.

Вывернулся лучшенезнать и пропал из ладоней моих, сгинул в неведомой межмирной щели. Это ли имела в виду Некраса, предка моя, когда велела хранить неведомо на что годный ларчик? Боги ведают.

Зазмеились по каменной стене пещеры зигзаги молний, прорезали полумрак. Раскрылись Врата перехода. Шагнула оттуда в некромантову потайку Преслава, Высшая, глава Веденейского Собора. За ней толпилась княжая дружина. Донес все-таки Осьмуша, отмежевался от господина и учителя своего, предатель: «Я не я, и хата не моя». Сволочь законопослушная.

У Преславы лицо строгое, замкнутое, у ратников княжьих — растерянные. Жмутся за спиной веденеи, взглядами любопытными по колдовским причиндалам шоркают, дыры протирают. Никогда такого не видали.

Что же досталось властям мирским? Голый мужчина с пустыми глазами голема, девчоночье тельце на столе, да скорченная в углу женщина с мертвым котом на коленях. Сидит, опаленную шкурку гладит.

Повела Преслава рукой:

— Уберите.

Один дружинник завернул в занавесь девочку, унес. Другой накинул свой плащ, Мормагону на плечи, взял за руку, повел, как послушного ребенка. И тот, и другой во Вратах исчезли, в Твердиград вернулись.

Высшая ко мне обернулась:

— За отступление от Соборного Уложения...

Гремит голос потоком по каменным порогам, топит меня с головою, холодом вливается мне в уши.

Я отступница!

— За преступление Закона...

Стихает голос, течет рекою, тянет меня в омут глубокий, глохнут мои уши.

Я преступница!

— За вину в запретной волшбе...

Иссякает голос малым ручейком, в песок впитывается, пробками слов забиты уши.

Я виновница!

— Веденя Купина Томилина, ты приговорена...

Не слышу. Нет меня. Схлопнулась явь.

Тишь, темень, покой.